

ОГОНЁК

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПРАВДА - МОСКВА

№ 14 АПРЕЛЬ 1989



КАРТИНЫ-ЭМИГРАНТЫ

ОПАЛЬНЫЙ
АЛЬМАНАХ

СУДЬБА БЕХТЕРЕВА



ВЗЛЕТАЕМ!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!



ОГОНЕК

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

Основан
1 апреля
1923 года

№ 14 (3219)
1—8 АПРЕЛЯ

Главный редактор
В. А. КОРОТИЧ.

Редакционная коллегия:

Д. Н. БАЛЬТЕРМАНЦ,
А. Ю. БОЛОТИН,
В. В. ГЛОТОВ

(ответственный секретарь),

Л. Н. ГУЦИН
(первый заместитель главного редактора),

Н. А. ЗЛОБИН,
В. Д. НИКОЛАЕВ

(заместитель главного редактора),

Ю. В. НИКУЛИН,
А. Г. ПАНЧЕНКО,
С. Н. ФЕДОРОВ,
А. В. ХРОМОВ,
Ю. Д. ЧЕРНИЧЕНКО,
В. Б. ЧЕРНОВ,
В. Б. ЮМАШЕВ.

НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ:
Так начинался день на шестом чемпионате Европы по полетам на воздушных шарах. (См. в номере материал «Летайте шарами Литовского общества воздухоплатателей!».)

Фото Евгения СТЕЦКО

Оформление В. В. ВАНТРУСОВА
при участии Г. Н. СИДОРОВОЙ

ПОДПИСКА НА «ОГОНЕК» ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ДО ПЕРВОГО ЧИСЛА ПРЕДПОДПИСНОГО МЕСЯЦА.

Цена подписки на год — 20 руб. 76 коп.,
на полгода — 10 руб. 38 коп.,
на квартал — 5 руб. 19 коп.

Сдано в набор 13.03.89. Подписано к печати 28.03.89. А 04417. Формат 70×108¹/₈. Бумага для глубокой печати. Глубокая печать. Усл. печ. л. 6,3. Усл. кр.-отт. 14,35. Уч.-изд. л. 11,55. Тираж 3 350 000 экз. Заказ № 280. Цена 40 копеек.

Адрес редакции: 101456, ГСП,
Москва, Бумажный проезд, 14.

Телефоны редакции: Для справок: 212-23-27;
Отделы: Публицистики — 212-21-88; Между-
народный — 212-30-03; Литературы — 212-63-69;
Искусства — 212-15-59; Морали и писем —
212-22-69; Фото — 212-20-19; Секретариат —
250-46-98; Литературных приложений —
212-22-13, 212-23-07.

Телефакс (международный)
(095) 943-00-70

Телетайп (внутрисоюзный) 112349
«Огонек»

Рукописи объемом более двух авторских листов
не рассматриваются.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типография имени В. И. Ленина издательства ЦК
КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, улица
«Правды», 24.



ВЫБОР СД

Нечаянная радость

Булат ОКУДЖАВА

РАССКАЗ

Посвящая Зою и Свету

Вспоминаю, как провожал маму в 1949 году.

Да, провожал. Так уж случилось. В 47-м встречал из лагеря, а тут провожал. Тогда многих провожали, и не на день, не на два, а на долгие сроки.

После всего, что было, ее арестовали снова. Мы узнали об этом в одну из отвратительных ночей, когда в наш дом ввалился человек, у которого в Кировакане мама снимала угол. Он приехал около шести часов поздним поездом, чтобы рассказать нам об этом, о последнем ее прости... Впрочем, он мог бы и не приезжать. Все равно я забыл его имя. Добрые дела не запоминаются. И чего было приезжать, когда ее уже забрали? Написал бы письмо, записочку бы передал со случайной оказией. Мог бы и не беспокоиться. Что тут поделаешь?

Он сидел на кухне, сыпал пепел на пол, на брюки, тяжело вздыхал. Тетя Сильвия плакала негромко, почти шепотом. Лампочка почему-то источала желтый свет. Погода за окном была мерзевшая. Все как-то сошлось, совпало, а человек должен был выдержать, не распасться от тоски и ужаса и беспомощности... Ну, мы и держались, как могли, и еще гадали: это что — чесеир? Или каэрдэ? То есть член семьи изменника родины или контр-революционная деятельность...

Когда она вернулась в 1947 году после десяти лет лагерей, не было ни реабилитации, ни даже помилования, просто отбыла свой срок и вернулась. В столичных и больших городах жить ей не разрешалось, и тетя Сильвия с большим трудом устроила ее в Кировакане кассиршей в какой-то артели. А мы жили в Тбилиси, и я был студентом университета. К тому времени я уже кое-что начал понимать, какой-то робкий анализ событий совершался в моей затуманенной голове, и возникали горькие вопросы: «За что?», «Почему?», «Ради чего?»...

Тетя Сильвия была постоянно настороже: такое уж было время. Она заглядывала в мои глаза, вслушивалась в мои интонации, они ее тревожили. И она, как бы отвечая на мои немые вопросы, время от времени восклицала:

— Какая мама все-таки счастливая! Не правда ли? Вот вернулась, жива-здоровая. И мы снова вместе, — и вглядывалась в меня очень пристально.

— Ну, конечно, — говорил я бодро, чтобы не волновать тетю Сильвию. — Теперь все хорошо. Мама живет, как все, работает, пишет письма, можно к ней съездить...

Но тетю Сильвию слова мои не успокаивали. Что-то ей в них чудилось опасное.

Она подхватывала мои бодрые слова тем решительнее, чем они были бодрее, и говорила громче обычного:

— А что? Разве не так? Как она мучилась в лагере, арестантка! А теперь свободная женщина, даже денги тебе присылают... Разве не так?..

Или восклицала:

— Что бы мы делали без Сталина? Как бы жили? — и внимательно вглядывалась в меня.

— Так бы и жили, — срывалось у меня, — а может, и не хуже.

— А война? — еще повышала она голос. — Какую войну вынесли! Ты разве этого не понимаешь? Ты что, все забыл?..

— Не забыл, — говорил я, чтобы не волновать ее.

— Карточки отменили...

Карточки продуктовые действительно были отменены.

— Цены понизили...

И цены медленно двигались к довоенным...

— ...и вот мама на свободе!

— Ну, конечно, конечно, — сдавался я. — Разве я спорю?

— Ну, вот, — успокаивалась она, — а то брякнешь где-нибудь такое, — и растерянно улыбалась.

И вот мама трудилась кассиршей и как-то умудрялась выкраивать мне маленькие суммы из своей зарплаты. Мы переписывались. Все как будто снова вставало на свои места, и не было смысла роптать, и стоило преклониться перед яростной мудростью тети Сильвии. Мы быстро привыкали к печалю и все

умели объяснять, и, если случался маленький, пусть даже совсем ничтожный праздник, даже не праздник, а легкое послабление, раздували его до несусветных размеров, радуясь и ликуя.

Так вот и ликовали, когда она вернулась, когда удалось устроить ее в артель, когда повезло ей снять угол в домике на окраине у хозяина, не испугавшегося появления в его мирном благополучном доме этой пропыленной, прожаренной в карагандинских просторах женщины с потускневшими зрачками. Да, радовались. Вот ведь как устроен человек! Понапрасну не восклицали, не задавали проклятых вопросов: «За что?», «Почему?», «Во имя чего?». Так, будто бы все было уже известно, все было всем ясно и не хотелось омрачать праздник.

Правда, иногда эти вопросы все же вырывались наружу. Мы, конечно, произносили их шепотом, как бы между прочим, как бы не придавая им значения, и отвечали на них суетливо, полунамеками, в которых сами лишь и могли разобрататься. Но иногда шепот надоедал. Тогда тетя Сильвия говорила:

— А что делать, мой дорогой? Если у государства много врагов, как-то ведь надо защищаться...

Но это не могло относиться к маме, и она тут же говорила:

— Ну, с мамой произошла ошибка, конечно, — и всматривалась в меня. — Когда-нибудь, мой дорогой, все это выяснится.

— Я не сомневаюсь, — отвечал я с грустью.

Она кусала губы и вдохновенно произносила:

— Если бы ты был на их месте... — и кивала на потолок.

«Их место» мне не грозило: я твердо был на своем. И теперь ее арестовали снова. Пришли как всегда ночью. Перерыли комнату, угол, который она снимала.

— Нашли что-нибудь? — усмехнулся я.

— Эээ, ничего не нашли, — сказал ее хозяин, снова роняя пепел.

— Если ничего, значит, все в порядке, — сказал я. — А что могли найти! — вскричала тетя Сильвия. — Что у нее было, кроме старого белья?

— Ничего не было, — подтвердил хозяин. — Я сидел рядом, а она собиралась. Они искали. Перерыли ее постель, чемодан, а что могли найти?

— Она плакала? — спросил я шепотом.

— Почему она должна была плакать? — крикнула тетя Сильвия. — Что она, виноватая?

— Нет, не плакала, — сказал он, — извинялась передо мной, бедная. А что я? Как будто я не понимаю. Я все понимаю.

— У меня большие связи, — сказала тетя Сильвия, утирая слезы, — они еще не представляют, что я могу, — лицо ее уже пылало вдохновением. Хозяин маминого угла смотрел на нее с изумленной надеждой: — у меня такие связи! — сказала она, — им не поздоровится... — и посмотрела на меня победно.

Он сидел и кивал, и сыпал пепел. Потом он ушел. Как-то боком выскользнул в дверь. Стояла ночь. Сыпал монотонный дождь. Что она может сделать? — подумал я.

— Ты не расстраивайся, не вешай носа, — сказала она, — я свою сестру в обиду не дам... Я им еще покажу!.. Второй раз... неизвестно за что... где... сколько можно!

Я-то знал, что она ничего не может. Не было никаких связей, я знал. Да и кто тогда мог? И все-таки ее горячая убежденность как-то успокаивала. А что, если есть? Есть что-то там, кто-то там, ведомый мне, или, например, жене большого человека одно слово — и все изменится, и мы еще посмеемся... А если нет, думал я, значит снова тюрьма? И допросы, и лагерь, и унижение, и карагандинские пески...

Я был студентом четвертого курса. Я знал, что меня терпят и чей-то глаз с небесной поволокой посматривает за мной. Я все время затылком ощущал чье-то упрямое присутствие. Будущее мое было туманно, несмотря на красивые лозунги и возвышенные слова о величии человека... Да, кто-то, может быть, и был велик и прекрасен, но мне лично не улыбалось ничего.

Ах, я ошибся, утверждая, что у нее нет связей, ошибся!

И вот как это произошло.

Она начала куда-то исчезать. Какие-то глухие те-

лефонные переговоры будоражили наш дом. Назначались свидания с кем-то, где-то, и казалось, весь город захвачен этим происшествием, и все прохожие поглядывают на меня, кто с осуждением, кто с сочувствием, то подозрительно, то печально. Вдобавок ко всему — поздняя осень с дождями и пронзительным ветром. Где мама? В тюрьме? В вагоне ли с зарешеченными окнами?

На красивом лице тети Сильвии не отражалось ничего, кроме упрямой сосредоточенности. Неотвратимости судьбы она противопоставляла непреклонность и веру, и женскую хитрость... И телефонную трубку обволакивали лукавство, мольбы, дружеские интонации, и между всем этим не было границ. Все перемешивалось, переливалось одно в другое. Меня захватывала эта таинственная мелодия. Это была школа нашей жизни, способ существования... «Вы же ее знаете...» или «Конечно, конечно, вы правы...», или «Вы мне не верите?...», или «Я понимаю вас, я согласна, но все же, но все же...»

Иногда она тихо плакала, надеясь, что я ничего не вижу, над носком, который она штопала, над нехитрой нашей едой, и я видел: крупные слезы скатывались по белоснежной, по прекрасной ее щеке.

Бывало, она приводила себя в порядок, лихорадочно, торопливо, деловито, придирчиво смотрелась в зеркало, и я видел, как меняется ее облик: то обаятельная улыбка озаряла ее лицо, то суровая непреклонность, а то вдруг просительная гримаса, а то и подобоострастный кивок, и царственная невозмутимость, и маска презрения... Видимо, она проигрывала перед зеркалом какие-то разговоры, какие-то с кем-то встречи, от кого хоть что-то могло зависеть в судьбе ее сестры. Я наблюдал эти горькие репетиции, а передо мною струились карагандинские пески, плыла поздняя осень. Был лагерь и колючая проволока, и вышки с часовыми, и мама в сером ватнике возле тачки...

Из утешительных слов тети Сильвии явствовало, что все это несметное множество людей, изъятых из жизни и осужденных на прозябание в тюрьмах и лагерях, что все они в чем-то виноваты, и только с мамой произошла роковая ошибка, которая вот-вот раскроется, и наступит торжество справедливости. Не очень убедительно звучало это, но я и это принимал, как маленькую надежду.

И вот не знаю, как ей удалось пробиться, разведать, выяснить, определить, но однажды она все-таки воскликнула, входя в дом:

— Мама в Тбилиси!.. Ее привезли сюда. Она в Ортачальской тюрьме!.. Теперь будет легче...

Что будет легче, я так и не понял: то ли легче будет о ней хлопотать, то ли легче будет с нею свидаться. Но повидаться нам с нею не пришлось. Свидания не разрешались, пока не состоится суд, а когда он состоится, никто не знал. Вот и продолжалась эта неукротимая деятельность тети Сильвии в надежде хоть что-нибудь выяснить, разведать, определить. О, какие усилия тратились людьми, чтобы нет, не побороть, а хотя бы несколько смягчить эту неумолимую машину нашей судьбы! Все было пущено в ход: от мелкого интриганства до высочайшего вдохновения. Как это получалось у тети моей, у красивой, неистовой, беспомощной сорокалетней моей тети Сильвии, не мне судить. Это для высших сил. Что я? Я просто был при этом. У меня не было ни опыта, ни сноровки, только постоянная вкрадчивая тоска безысходности, разъедающая душу. Быть может, думал я, я заслужил эту участь чем-нибудь таким, каким-нибудь неловким жестом, неосторожным шагом, непродуманным словом? Почему, думал я, другим все: и улыбка, и будущее, и всякие праздники — все, а мне — ничего? Хотя что я знал о других, варясь в своей беде?

Наступила зима, а суда все не было. Гнилая тбилисская зима, гнилые ощущения, дождь и снег, коптящая керосинка, обогревающая комнату, томительные лекции в университете и мои друзья, напряженные вместе со мною. И всяческие фантазии на ту же тему: уж если снова в лагерь, то хоть не в эту пронзительную непогоду, лучше бы летом, пусть жаро, пусть, чем вот это неистовство, из промерзших вагонов в отсыревшие бараки и с тачкой под снег... И мы спрашивали друг у друга шепотом: «Ну что слышно? Решилось?..»

В конце концов все ведь решается, не так ли?

Только нужно было набраться терпения. О, мы привыкли терпеть. Терпение стало второй натурой, воздухом, которым мы дышали, и, когда этого воздуха становилось слишком мало для ничтожного вздоха, хотелось кричать и плакать. Как странно двигались мы при этом! Какие произносили несуразности, я помню, покуда однажды самым отвратительным февральским полднем не родились из колдовства тети Сильвии, из заговорщической ее суеты, из ее хождения по краю пропасти долгожданные счастливые выкрики...

Я помню, она крикнула мне в лицо, вернувшись после очередного поединка, что мы победили, что бог есть и есть справедливость... А ты говорил, что нет справедливости, ты помнишь? Кто это говорил? Ты утверждал все это, а я верила, что она ни в чем не виновата, потому что она ни в чем не виновата, а ты говорил, что перед нами глухая стена... кто это говорил? А я верила, я знала... Не будет лагеря, не будет! Ни лагеря, ни тюрьмы... не могут невинную женщину захватить в лагерь... а ты говорил... а я говорила, что не могут...

— И что же?! — крикнул я, боясь верить. — Что же теперь?

Она наконец села в кресло, а до того все металась по комнате, перебирала на столе какие-то бумажки, маленькая прядь отбилась от ее прекрасной прически, она ее поправляла, но ничего не могла и вдруг успокоилась, уселась и заплакала, как только она умела, бесшумно и страшно. Может быть, это были даже не слезы, а счастливая влага, источаемая душой? Кто знает...

— Вот видишь, — сказала она мне, — как важно вовремя собраться... Я их всех прижала, всех, вот они все у меня где, — и яростно потрясла сжатый кулаком, — они увидели, что она ни в чем не виновата... какой уж тут лагерь? За что? Они дали ей ссылку, — она пристально глянула на меня, — это значит, что ей определят место, ну там деревню, поселок какой-нибудь, и там она будет абсолютно свободна, представляешь? Будет жить в нормальном доме, ходить в магазин, в кино! — Она изучала мое лицо, я это видел.

— Какое счастье! — сказал я и попытался улыбнуться. — Сколько же ей там находиться?

— Ну, это не будет продолжаться вечно, — сказала она с обычной своей прозорливостью.

Она теребила мой чубчик. Ссылка называлась вечной, но мы, словно сговорившись, опускали это слово. Вечного ничего не бывает.

— К ней можно будет ездить, говорить по телефону...

— Хотя бы место попримечнее, — сказал я. — Даже не верится, что не будет лагеря.

Она звонила своим знакомым и говорила, что вот какое гуманное решение и вместо ужаса лагерей будет всего лишь ссылка, хотя мы живем в такое сложное время и в таком окружении, но сочли возможным вынести такое решение... бедная ее сестра, она тоже вздохнет после всего, что было, потому что какая у нее была жизнь? Все висело на волоске, никаких прав...

— Видишь ли, — сказала она мне, — такое сложное время. Конечно, мама ни в чем не виновата и могла бы не подвергаться всем этим ужасам, но мы живем в такое сложное время, и они, конечно, не могут теперь взять ее и выпустить так просто, ты понимаешь?

— Еще бы, — сказал я.

— Главное в том, — сказала она, — что мама ни в чем не виновата. Иначе разве было бы такое мягкое решение?

Казалось, что и погода за окнами помягчала. И я звонил своим друзьям: Зурабу, Володе, Филиппу и Нате, и Додику Барткулашвили, и всем рассказывал о случившемся, и объяснял, какая разница между лагерем и ссылкой, опуская слово «вечная» как излишество. Важно ведь то, что там она будет свободным человеком. Будет ходить в кино, если захочет, и я смогу на каникулы приезжать к ней.

Но почему-то снова мы не могли добиться с нею свидания, и передач у нас не принимали, и сроки ее отправки сохранялись в глубокой тайне.

— Почему она не может поехать сама по месту своего назначения! — сокрушался я, и слово «назначение» успокаивало: оно было так буднично, не то что ссылка или вечное поселение. И снова жизнь испытывала наше терпение, и снова углублялась пропасть между «мы» и «они». Мы были беспомощны, они — таинственны и всеильны.

Однако тетя Сильвия продолжала идти напролом. Щеки ее лихорадочно пунцовели, карие глаза сверкали, непослушная прядка выбивалась из прически. С утра она надевала свои лучшие платья и отправлялась по таинственным адресам. Где уж там она бывала, в какие проникала кабинеты, кого упрашивала, у кого вымаливала — кто знает, но наконец ей и тут пофартило, и она узнала, что завтра отправят маму в арестантском вагоне с московским поездом.

Как странно теперь вспоминать те годы, когда в каждом пассажирском составе был обязательно

арестантский вагон — темно-зеленый, с зарешеченными маленькими окнами. Как привычны они были тогда, как равнодушно скользили по ним наши взоры.

Вечером следующего дня, задолго до отхода московского поезда, мы были на вокзале. Дома, перед уходом, тетя Сильвия уложила в большую сумку вещи, которые, как она считала, могли бы пригодиться маме: старая кофта, теплая юбка, пара туфель, ботинки, пакет сухарей, бутылочка с подсолнечным маслом и табак, и несколько старых журналов, и носки, и белье, и даже чайник, простой алюминиевый чайник, выдавший виды, потерявший блеск, но еще вполне годный к употреблению.

На вокзале было тихо. Все платформы были пусты. Составов не было нигде.

Я стоял с сумкой, прислонившись к чугунному столбу, а тетя Сильвия вновь отправилась на разведку, потому что очень важно было установить место, где окажется арестантский вагон. Время шло. Началось вечереть. Дождь прекратился, и только мартовский сырой и колкий ветер бесчинствовал на путях. Вернулась тетя Сильвия — разведчица моей души — сказала, подбадривая меня, что скоро подадут состав. Мы, конечно, не представляли, как все это будет выглядеть и как мы будем передавать сумку маме.

Грязно-серые сумерки опустились на вокзал. Показался московский состав, он медленно приближался. Трудно было определить, какой из путей он выберет, но тете Сильвии было известно, что наша платформа — именно то место, которое нам нужно. Вот послышался перестук колес. Длинная змея поезда, извиваясь, приближалась, однако в последнюю минуту она изогнулась и поползла по совершенно другому пути, за второй от нас платформой. Мы заметили. Там, прямо за паровозом, и точно, просматривался арестантский вагон. Не успел состав остановиться, как пассажиры загрохотали платформой. Перебегать через пути было слишком высоко. Мы оказались отрезанными от состава. Поезд, полязгав, остановился, и пассажиры полезли в вагоны. Лишь арестантский вагон стоял в одиночестве — к нему

никто не спешил. Я поглядел вдоль путей, где-то вдалеке виднелся переход на другую платформу.

— Смотри, смотри, — крикнула тетя Сильвия, — вон мама!

Непонятно, как успела образоваться группка людей у арестантского вагона. Около тридцати женщин с сумками, с чемоданами стояли кружком, а вокруг — плотным кольцом охрана. Среди женщин я разглядел маму в старой лагерной телогрейке, с лагерным же чемоданчиком в руке. Я замахал, она нас увидела. Мы кивали друг другу. Я выставил вперед руку с оттопыренным большим пальцем, и это должно было означать, что у нас все хорошо, пусть она о нас не беспокоится. Арестантки полезли в вагон быстрой ускользящей струйкой. Влились и исчезли, и снова возле арестантского вагона было пусто.

Тетя Сильвия вырвала у меня сумку и побежала к дальнему переходу. Быстро темнело. Машинист вскарабкался по ступенькам на паровоз. Пассажиры заканчивали посадку. Как моя тетя перебежала через пути, я не видел. В вагонах осветились окна. Везде. И только в маминем вагоне господствовала темь. Затем состав дернулся и медленно заскользил. Через несколько минут его словно и не было.

Вернулась тетя Сильвия. Она успела добежать до вагона и разыскала начальника охраны. Его фамилия была Еськин. Сержант Еськин сначала и разговаривать не захотел, но все-таки смилостивился, хотя вещи передать категорически отказался. Она уговаривала его, называла дорогим, родным и плакала, и сунула ему пятьдесят рублей, и тогда он согласился передать, но только чайник.

— Только чайник, — сказал он, — эта вещь в дороге нужная.

Всю обратную дорогу домой мы праздновали удачу.

Теперь прошло много лет. Теперь и вспоминать об этом как-то не так больно. В 1956 году мама вернулась окончательно. Вот тогда мы и узнали, что чайника сержант Еськин так ей и не передал.

За что? Почему? Во имя чего?..

Впрочем, это уже не имеет значения.



Рисунок
Левона ХАЧАТРИЯНА